


400
Игорь-Северянин



Роса оранжевого часа

Поэма детства в 3-х частях



Издательство Вадим Бергман

ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН

РОСА ОРАНЖЕВОГО ЧАСА

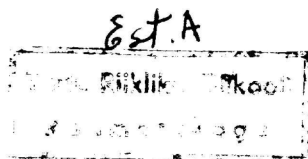
ПОЭМА ДЕТСТВА В 3-Х ЧАСТЯХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВАДИМ БЕРГМАН
ЮРЬЕВ-TARTU (ЭСТОНИЯ)

1925

Эта работа выполнена в феврале 1923 г.
Eesti, Toila.



15689

241754049

Типография Эд. Бергман, Юрьев



Вступление



1.

Роса оранжевого часа, —
Когда восход, когда закат.
И умудренность контробаса,
И рядом мистика баллад,
И соловьев бездумных трели,
Крылатый аромат цветов,
И сталь озер, и стиль Растрелли —
Роса оранжевых часов...

Пылающие солнца стрелы
Мне заменяют карандаш.
Зыряне, шведы и мингрелы —
Все говорят: „Ты — наш! ты — наш!“
На голове в восторге волос
Приподнимается от стрел,
И некий возвещает голос:
„— Ты окончательно созрел.
Но вскоре осень: будет немо...
Пой, ничего не утая:
Ведь эта самая поэма —
Песнь лебединая твоя.“ —

2.

Отец и мать! вы оба правы
И предо мной, и пред страной:
Вы дали жизнь певцу дубравы
И лиру с праведной струной.
Я сам добавил остальные —



Шесть самодельных острых струн.
Медно-серебряно-стальные
Они — то голубь, то бурун.
Когда беру аккорд на лире
Неверный, слышит и луна:
О солнечной душевной шири
Поет та первая, струна.
Благодаря лишь ей, вся песня,
Где в меди песенной литой
Порой проскальзывает „пресня“
Таит оттеннок золотой.
Отец и мать! вы вечно правы!
Ваш сын виновный — правдой прав.
Клоню пред вами знамя славы,
К могилам дорогим припав.

Часть I



1.

Я видел в детстве сон престранный,
Престранный видел в детстве сон...

Но раньше в Петербург туманный,
Что в Петроград преображон,
Перелетаю неустанной
Своею мыслью, с двух сторон
Начав свое повествованье:
С отца и с матери. Вниманье!
Начало до моих времён.

2.

Родился я, как все, случайно
И без предвзятости при том...
Был на Гороховой наш дом.
Отец был рад необычайно,
Когда товарищ по полку
Затеял вдруг в юмандировку
Из телеграмм бомбардировку.
И лёжа на живом шелку
Травы весенней, в телеграмме
Прочел счастливый мой *рафа*
Что я родился, дея *pas*,
Pas, предусмотренные в драме,
Какую жизнью свет зовет.
Ему привет товарищ шлет
И поздравляет папу с сыном
Егорушкой. Таким скотинам,



Как этот Дэмбский, папин друг,
Перековеркавший мне имя,
Я дал бы, раньше всех наук,
Урок: ошибками своими
Таланта не обездарять:
Ведь Игоря об'егорять —
Не то, что дурня об'игорить,
Каким был этот офицер...
Ему бы, всем другим в пример,
Лицо полезно разузорить...
Отец мой, вмиг поняв ошибку
Приятеля, с киргофских гор
Прислал привет отцовский в зыбку.
Шалишь, брат: Игорь — не Егор!
„Егор! Егорий!“ так на торге
Базарном звал народ простой
Того, кто в жизни был Георгий
Победоносный и святой.

3.

Отец мой, офицер сапёрный,
Был из владимирских мещан.
Он светлый ум имел бесспорный
Немного в духе англичан.
Была не глупой Пелагея,
Поэта бабка по отцу:
На школу денег не жалея,
Велела дедушке-купцу
Вести детей в далекий Ревель
И поместить их в пансион,
Где дух немецкий королевил
Вплоть до республичных времён...
Отец, сестра Елисавета



Дочь предводителя дворянства
Всех мерила на свой аршин;
Естественно, что дон-жуанство
Супруга — чувство до вершин
Взнести успешно не смогло бы.
Степан Сергеевич Шеншин,
Ее отец, не ведал злобы,
Был безобидный человек.
В то время люди без аптек,
Совсем почти без медицины
На свете жили. Десятины
Прекрасной пахотной земли
Давали всё, что дать могли.
„Борисовка“, затем „Гремячка“
И старый „Патепник“ — вот три
Именья дедушки. Смотри,
Какая жизнь была! Собачка,
Последняя из барских сук,
Жила, я думаю, богаче,
Не говоря уже о кляче,
Чем я, поэт, дворянский внук...
Они скончались все, но тихи-ль,
При думе обо мне, их сны —
Всех Переверзевых, Клейнмихель,
Виновников моей весны,
Лишенной денег и комфорта?
И не достойны ли аборта
Они из памяти моей?
Все вы, Нелидовы и Дуки,
Лишь призраки истлевших дней,
Для слуха лишь пустые звуки...
Склоняясь ныне над сумой,
Таю, наперекор стихии,



Смешную мысль, что предок мой
Был император Византии!..
Но мне не легче оттого,
А даже во сто крат труднее:
Я не имею ничего,
Хотя иметь, как будто, смею...
И если бы я был осел,
Четвероногая скотина,
Я стал бы греческий престол
Оспаривать у Константина!..
Но, к счастью, хоть не из людей,
Я всё-же человек и, значит,
Как бедность жизнь мне не собачит,
Имею крылышки идей,
Летя на них к иному трону.
Ах, что пред ним престол царьков?
Мне Пушкин дал свою корону:
Я — тоже царь, но царь стихов!

5.

Из жизни мамы эпизоды,
Какие, по ее словам,
Запомнил, расскажу я вам:
Среди помещиков уроды
Встречались часто. Например,
Один из них, граф де-Бальмер,
Великовозрастный детина,
Типичный маменькин сынок,
Не смел без спроса рвать жасмина
И бутерброда с'есть не мог;
Не смел взглянуть на ротик Лизин,
Когда был привозим на бал.
Таких детей воспел Фонвизен



И недорослями назвал.
Другой потешный тип — Фонтани:
Тот, ростом просто лиллипут,
Любил вареники в сметане,
И мог их скушать целый пуд.
Он был обжорою заправским,
Чем славился на весь уезд,
Шатаясь по приемным графским,
Выискивая в них невест.
Был и такой еще помещик,
Который, взяв с собою вещи
И слуг, в чужой врывался дом,
Производя в сениях содом;
И окружен детьми чужими,
Взирая на чужих детей,
Считая их семьей своей,
Кричал рассеянно: „Что с ними
Я буду делать? Чем, о чем
Я накормлю их? ах, зачем
Такое у меня семейство?“ —
А вот пример „эпикурейства“:
Вблизи Щигров жил-был один
Мелкопоместный дворянин,
Который так свалился низко
(Причин особых не ищи!)
Что чуть-ли не без ложки щи
Лакал из миски... Эта миска —
Его единственный сосуд.
Когда-же предводитель, суд
Над ним чиня, его поставил
В условия лучшие, сей Павел
Иваныч Никудышный взял
И долго жить всем приказал, —



Что называется, не вынес:
Людская жизнь не по нутру
Пришлась ему, и по утру
Он умер, так и не „очинясь
В чин человека“... Как-то раз
Вкатил в „Гремячку“ тарантас:
Пожаловала в нём Букашка,
Одна помещица из „Горст“,
А вслед за ней ее Палашка,
Неслась галопом двадцать вёрст!
Шол пар от лошадей и девки...
Еще бы! Как не шол бы пар!
Какие страшные издевки!
Какая жуть! Какой кошмар!
Одна соседка — белоручка
Весьма типичною была:
Любовь помещица звала:
„Сердечновая закорючка.“
Никто, пожалуй, не поверит,
Но вот была одна из дев,
Что говорила нараспев:
— „Ах, херес папочка мадериг,
Но к вечеру он примет Вас,
Когда перемадерит херес“...—
Какая чушь! какая ересь!
Неисчерпаемый запас
Дворянской жизни анекдотов!
Но чем-же лучше готтентотов
Голубокровь и белокость?
Вбиваю я последний гвоздь,
Гвоздь своего пренебреженья
В анекдотический сундук,
Где в кучу все без уваженья



Мной свалены, будь то сам Дук,
Будь то последняя букашка...
О, этот смех звучит так тяжело!..

6.

За генерала-лейтенанта
Мать вышла замуж. Вдвое муж
Ее был старше, и без Канта
Был разум чист его к тому-ж...
Он был похож на государя,
Освободителя-царя,
И прожил жизнь свою незря:
Мозгами по глупцам удара,
Он вскоре занял видный пост,
Соорудя Адмиралтейство,
И, выстроив Дворцовый мост,
Он обошелся без злодейства.
Имел двух братьев; был один
Сенатором; другой-же гласным.
Муж браком с мамой жил согласным,
И вскоре дожил до седин,
Когда в могилу свел его
Нарыв желудка — в Рождество.
Он был вдовец, и похоронен
В фамильном склепе близ жены, —
Все Домонтовичи должны
В земле быть вместе: узаконен
Обычай дряхлой старины.
Ему был предком гетман Довмонт,
Из старых польских воевод.
Он под Черниговом в сто комнат
Имел дворец над лоном вод.



Гостеприимство генерала,
Любившего картёжный хмель,
Еженедельно собирало
На винт четыре адмирала:
Фон-Берентс, Кроун, Дюгамель
И Пузино. Морские волки,
За картами и за вином,
Рассказывали о своем
Скитании по свету. Толки
Об их скитаньях до меня
Дошли, и жизнь воды, маня
Собой, навек меня прельстила.
Моя фантазия гостила
С тех пор нередко на морях,
И, может быть, они — предтечи
Моей любви к воде. Далече
Те дни. На мертвых якорях
Лежат четыре адмирала,
Но мысль о них не умирала
В моем мозгу десятки лет,
И вот теперь, когда их нет,
Я вовсе их не знавший лично,
С отрадой вспоминаю их,
И как-то вдохновенно — клично
О них мой повествует стих.
В те дни цветны фамилий флаги,
Наш дом знакомых полон стай:
И математик Верещагин,
И Мравина, и Коллонтай, —
В то время Шура Домонтович, —
И черноусыч, чернобровыч
Жених кузины, офицер;
И сын Карамзина, и Салов, —



Мой крестный, матери beau-frère —
И Гассман, верный из вассалов,
И он воспетый де-Бальмэр;
И, памяти недоброй, Штюмер,
Искавший маминой руки
В дни юности. Сановник умер,
И все той эры старики.

7.

От брака мамы с генералом
Осталась у меня сестра.
О, детских лет ее пора
Была прекрасной: бал за балом
Мелькал пред взорами ее!
Но впрочем детство и мое,
Не омраченное нуждою
(Её познал потом поэт),
По своему прекрасно. Зою,
Что старше на двенадцать лет,
Всегда я вспоминаю нежно.
Как жизнь ее прошла элежно!
Ее на свете больше нет,
О чем я искренне жалею:
Она, ведь, лучшею моею
Всегда подругою была.
Стройна, красива и бела,
Восторженна и поэтична,
Она любила мир атичный;
Все воскрыления орла
Сестрой восприняты отлично.
Как жаль, что Зоя умерла!



8.

Мать с ней жила в Майоренгофе, —
Ах, всякий знает рижский шtrand! —
Когда с ней встретился за кофе
У Горна юный ад'ютант.
Он оказался Лотарёвым,
Впоследствии моим отцом;
Он мать увлек весенним зовом,
И всё закончилось венцом.
Напрасно полицмейстер Гротхус,
Ухаживая, на коне
К ней на веранду, при луне, —
Как говорят эстонцы: „kotkas“, —
Орлом, бравируя, в'езжал;
Барон, красавец златокудрий,
Напрасно от любви дрожал
И не жалел любовных жал:
Его затмил поручик мудрый.

9.

... Я видел в детстве сон престранный:
Темнел провалом зал пустой,
И я в одежде златотканной
Читал на кафедре простой,
На черной бархатной подушке
В громадных блёстках золотых . . .
Аплодисменты, точно пушки,
В потемках хлопали пустых . . .
И получалось впечатление,
Что этот весь безлюдный зал
Меня приветствовал за чтение
И неумолчно вызывал . . .



Я уклоняюсь от трактовки
Мной в детстве виденного сна . . .
Той необычной обстановки
Мне каждая деталь ясна . . .
Я слышу до сих пор тот взрывной
Ничьих аплодисментов гул . . .
Я помню свой экстаз порывный, —
И вот о сне упомянул . . .

10.

Мне было пять, когда в гостиной
С Аделаидой Константиновой,
Которой было тридцать пять,
Я, встретясь в первый раз, влюбился;
Боясь об этом дать понять
Кому-нибудь, я облачился
В гусарский — собственный! — мундир,
Привесил саблю, и явился
Пред ней, как некий командир
Сердец изысканного пола . . .
С нее ведет начало школа
Моих бесчисленных побед
И ровно стольких женских бед . . .
Я подошел к ней, шаркнув ножкой
И шпорам дав шикарный звяк,
Кокетничая так и сяк,
Соперничая втайне с кошкой,
Что на коленях у неё
Мурлыкала. Увы, пропало
Старанье нравиться мое:
Она меня не замечала.
Запомните одно, Адэль:
Теперь переменились роли,



И дни, когда меня пороли,
За миллионами недель.
Теперь у всех я на виду,
И в том числе у Вас, понятно ;
Но я к Вам больше не иду :
Ведь Вам столетье, вероятно ! . . .

11.

Я, к счастью, вскоре позабыл
Любви отвергнутой фиаско :
Я тройку папочных кобыл
В подарок получил и каску
Кавалергардскую, взамен
Гусарской меховой с султаном . . .
Мне захотелось перемен, —
Другим загрезился я станом :
Брюнетки, старшей на пять лет
Меня, Сели — новой Варюши ;
В нее влюбился я „по уши“,
И блеск гвардейских эполет,
Носимых мною, ей по вкусу
Пришелся. Вскоре сделал я
Ей предложение, не тая
Любви и подарил ей . . . бусу
Стеклянную на память ! Дар
Предсвадебный невесту тронул.
Вот как влюблялся экс-гусар,
Имевший склонность к аристону,
Чью ручку он вертел все дни,
На нем „Ильбаччио“ играя,
И гимн „Господь, царя храни !“
Ему казался гимном рая . . .



12.

Совать мне пробовали бонн,
Француженок и англичанок,
Но с ними я такой брал тон,
Предпочитая взвизги санок
Научным взвизгам этих дев,
Что бонны сыпались картечью
Со всей своей картавой речью,
Ладони к небесам воздев...
И только Клавдия Романна,
Mademoiselle моей сестры,
Одна могла, как то ни странно,
В разгаре шуток и игры,
Меня учить, собирая в стаю
Рои разрозненные дум,
По сборнику: „И я читаю“, —
И зачитал я наобум...

13.

Мой путь любовью осюрпризен,
И удивительного нет,
Что я влюблен в Марусю Дризэн,
Когда мне только девять лет.
Ей ровно столько же. На дачах
Мы с нею жили vis-à-vis;
И как нас бонна ни зови,
Мы с ней погружены в задачах...
Не арифметики, — любви!
Ее папаша был уланский
Полковник, с виду Антиной,
Германец, так сказать, курляндский,
Что вечно влагою цимлянкой
Гасил кишки гвардейских зной...



Упомянуть я должен вкратце
О Сандро, шаловливом братце
Моей остзейской Лорелей,
Про скандинавских королей
И викингов любившей саги
Из уст двух дядь и на бумаге,
Где моря влажь милей, чем твердь;
О толстой гувернантке — немке
И о француженке, как жердь;
Но как ты не жестокосердъ
Моей безоблачной поэмки
Ее фигуркою, madame
Я уваженъ лишь воздам...

14.

В саду игрушечный домишко
Нам заменял Chateau d'amour,
Где тонконогая Амишка
Нас сторожила, как лемур...
У нас была своя посуда,
Свои любимые цветы
И от людского пересуда
В душе таимые мечты.
Ей шло батистовое платье,
Белей вишневых лепестков,
И, если стану вспоминать я
Ту крошку, фею мотыльков,
Не меньше тысячи стихов
Понадобится мне, пожалуй,
Меж тем, как сжатость — мой девиз;
И вот прошу транзитных виз
В посольстве Памяти усталой:
Ведь крошка — только эпизод,



А пункт конечный назначенья —
Всё детское без исключенья;
И как для зуба креозот,
Страшны художнику длинноты. . .
Итак беру иные ноты,
Что называется, пальнув
В читателя старушьею сплетней;
Всё это оказалось пуф
Впоследствии, но нашей летней
Любви был нанесён урон;
Как в настоящей камарильи,
Старушки в кухне говорили,
Что я, как некий Оберон,
В Титанию влюбленный, Варю
Сели — нову на дачу жду.
Я не могу понять нужду, —
Затем, что сам я не кухарю, —
Заставившую рты стряпух
Пустить такой нелепый слух.
Тот слух растягивал их харю
В ухмылку пошлую. Они
Уже высчитывали дни
Приезда маленькой смуглянки
И, в жарком споре, били склянки,
Тарелки, миски и графин.
Строй Аграфен из Агриппин
Судил о детских впечатленьях
С не детской точки зренья; их —
Испорченных, развратных, злых, —
Отбросим в грязных их сомненьях,
И скажем, что одна из фраз
О Варе долетела раз
До слуха хрупкого Маруси. . .



15.

Закат оранжевый, орусив
Слегка пшеничность мягких кос,
Вложил в ее уста вопрос:
— „Я слышала, ты ждешь Варюшу
Какую-то... Но кто-ж она?
Она в тебя не влюблена?
О, не смущайся: не нарушу
Я Вашей дружбы“... — А в глазах
Блеснули слезы, и в слезах
Она обиженную душу
Оплакивала, не шутя,
Маруся это *monstre* — дитя . . .
Я ей признался, что до встречи
С ней, может быть, когда-нибудь,
И пробовал я обмануть
Себя иллюзией, но путь
Мой твердым стал при ней, что речи
Былые, детские, не в счёт,
Что я теперь совсем не тот,
Что я серьезнее и старше,
Что взрослый я уже почти,
Что „ты внимательно прочти
Страницы сердца: в них не марши
Парадные, а траур месс“,
Что я без шалостей, и без
Каких бы ни было там шуток,
Ее люблю, что мрачно — жутко
Мой умудренный жизнью взор;
Я указал на кругозор
Ей мой, на важные задания,
На взлёт идей, и, в назиданье,



По предположенным усам
Крутя рукой, „белугой“ сам
Расплакался перед малюткой . . .
И розовую незабудкой
Лицо Маруси расцвело, —
Она нашла успокоенье
В моих словах: спустя мгновенье,
Безоблачным ее чело
И ласковым, как прежде, стало.
Чего бы нам не доставало,
Имевшим всё: полки солдат,
Корабль и кукол гардеробы,
Любви веселые микробы,
Куртин стозвонный аромат,
И даже свой Chateau d'amour. —
Объект стремлений наших кур?! . . .

16.

Мелькали девять лет, как строфы
В романе, наших дач ряды —
Все эти Стрельны, Петергофы,
Их павильоны и пруды.
Мы жили в Гунгербурге, в Стрельне,
Езжали в Царское Село.
Нет для меня тоски смертельной,
Чем это дачное тягло! . . .
Но то теперь. А раньше? Раньше,
Не зная духа деревень,
Я уподоблен капитанше,
Считавшей резедой . . . ревень!
Вернувшись с дачи в эту осень,
Забыв роскошное шато
И парка векового лосень,



Я стал совсем ни сё — ни то :
Избаловался, разленился,
Отбился попросту от рук . . .
Вот в это время появился
Ильюша, будущий супруг
Моей сестры. Я на моменте
Предсвадебном останавлиюсь
И несколько назад вернусь . . .

17.

Отец ушел в запас. В Ташкенте,
Где закупал он в город Лодзь
Мануфактуре ткацкой хлопок,
Он пробыл года два. От „стопок“
Приятельских (ах, их пришлось
Ему немало!), от кроваток
На мокрой зелени палаток,
От путешествия в Париж,
Что обошлось почти в именье,
От всех Джульетт, от всех Мариш,
Почувствовал он утомленье
И боли острые в груди :
Его чахотка впереди
Ждала. Итак, пока мы скосим
Два года до венца сестры,
И обозначим в тридцать восемь
Отцовский возраст той поры.
Случайно, где-то в Самарканде,
На санаторийной веранде.
Он познакомился с Ильей,
Штабс-капитаном гарнизона,
И эта важная персона
Впоследствии моей сестрой



Изволила увлечься: в гости
Отец к нам приезжал зимой
С Ильею вместе. Мрачной злости
С невинных глаз не разобрал
В Илье, в него влюбилась Зоя.
Он показал покорный нрав.
Но, говоря меж нами, — соя
Преострая был этот муж,
И для таких тончайших душ,
Как Зоина, изрядно вреден.
Он внешне интересно — бледен,
Довольно робок, вмеру беден,
Имел пушистые усы,
Имел глаза, темней агата.
Так иногда, ласкаясь, псы
Сгибают спины виновато. . .

18.

Итак, Илья — уже жених.
Не мало мог я рассказать бы
О яркой пышности их свадьбы,
Но надо экономить стих
И трудно говорить о них
Подряд: ведь, вспоминая Зою,
Благоговею я душой,
А муж ее, — он мне чужой,
Антипатичный. Я не скрою,
Что он нам сделал много зла:
Мне и моей пассивной маме.
Я расскажу теперь о драме,
Которая произошла,
Увы, не без его участия . . .
У мамочки он отнял счастье



Со мною быть; его совет
Отцу, приехавшему к свадьбе,
Решил судьбу мою. И свет
В новопостроенной усадьбе,
Куда отец меня увез,
Моим очам явился в свете
Совсем ином. О, сколько слёз
Мои глаза познали — эти,
Которыми теперь смотрю
На белолистые страницы,
Их бисеря пером! Мне мнится
Сестры венчанье. К алтарю
Введения во храм, в атласе,
Под белым газом, по ковру
Идущая сестра. Беру
Тот миг, когда в иконостасе
Коричневая темень глаз
В лучах лампад глядит на нас.
Я — мальчик с образом. В костюме
Матросском, белом, шерстяном.
Мои глаза в печальной думе
Всё об одном, всё об одном:
Как долго проживет родная?
Душа мне говорит: „Проси
У Бога милости: одна я“...
О, Боже! мамочку спаси!..
... А тут и этот бездыханный
Зал, и ладоней гулкий стон...

Я видел в детстве сон престранный...
Престранный сон... Престранный сон. 1.



Часть II



1.

Завод картонный тети Лизы
На Андоге, в глухих лесах,
Таил волшебные сюрпризы
Для горожан, и в голосах
Увиденного мной впервые
Большого леса, был призыв
К природе. Сердцем ощутив
Ее, запел я; яровые
Я вскоре стал от озимых
Умело различать; хромых
Собак жалеть, часы на псарне
С борзыми дружно проводя,
По берегам реки бродя,
И всё светлей, всё лучезарней
Вселенная казалась мне.
Бывал я часто на гумне,
Шалил среди веселой дворни,
И через месяц не был чужд
Ее, таких насущных, нужд.
И понял я, что нет позорней
Судьбы бесправного раба,
И втайне ждал, когда труба
Непогрешимого Протеста
Виновных позовет на суд,
Когда не будет в жизни места
Для тех, кто кровь рабов сосут...
Пока же, в чаяньи свободы,



В природу я вперял свой взгляд,
Смотрел на девьи хороводы,
Кормил доверчивых цыплят.
Где вы теперь, все плимутроки,
Вы, орпингтоны, фавероль?
Вы дали мне свои уроки,
Свою сыграли в жизни роль.
И уж, конечно, дали знаний
Не меньше, чем учителя,
Глаза в лесу бродивших ланей
И реканье коростеля . . .
Уставши созерцать старушню,
Без ощущений, без идей,
Я часто уходил в конюшню,
Взяв сахара для лошадей.
Меня встречали ржаньем морды:
„Касатка“, „Горка“ и „Облом“
Со мною были меньше горды,
Чем ты, манерный тёткин дом . . .

2.

Сближала берега плотина.
На правом берегу реки
Темнела фабрики махина,
И воздух резали свистки.
А дом и все жилые стройки
На левой были стороне,
Где повара и судомойки
По вечерам о старине,
Сойдясь, любили погугорить,
Попеть, потанцевать, поспорить
И прогуляться при луне.
Любил забраться я в каретник,



Где гнил заброшенный дормез.
Со мною Гришка — однолетник,
Шалун, повеса из повес,
Сын рыжей скотницы Евгеньи;
И там, средь бричек, тюльбэри,
Мы, стибрив в кладовой варенье,
В пампассы, — чорт нас поberi! —
Катались с ним, на месте стоя...
Что нам Америка! пустое!
Нас безлошадий экипаж
Вез через горы, через влажь
Морскую. Детство золотое!
О детство! если бы не грусть
По матери, чьи наизусть
Почти выучивал я письма,
Я был бы счастлив, как Адам
До яблока... Теперь я дам
Гришутке, — как не торопись мы
Из Аргентины в нашу глушь,
К обеду не поспеем! — куш:
На пряники и мёд полтинник,
А сам — к балкону, дай Бог прыть,
Не слушая, что говорить
Во след мне будет дрозд-рябинник.

3.

А в это время шла на Суде
Постройка фабрики другой,
Где целый день трудились люди,
Согбенные от нсш дугой.
Завод свой тётка продавала:
Он был турбинный, и доход
Не приносил не первый год;



И опасаясь до провала
Всё дело вскоре довести,
И после планов десяти,
Она решила паровую
Построить фабрику в верстах
В семи от прежней, на паях
С отцом, и, славу мировую
Пророка предпринять, в лес
Присудский взоры обратила.
Так, внемля ей, отец мой влез
В невыгодную сделку. Мило
Начало было, но, спустя
Четыре года, всё распалось,
И тетушка одна осталась,
Об этом, впрочем, не грустя;
В том удивительного мало:
Отец мой был не коммерсант,
В наживе слабо понимала
И тетушка: ведь, прейс-курант
Сортов картона — не Жорж-Занд!..
На новь! Прощай, завод турбинный
И дюфербреров провода,
И в час закатный, в час рубинный,
Ты, тихой Андоги вода!

4.

От мглы людского пересуда
Приди, со мной повечеряй
В таёжный край, где льется Суда...
Но стой, ты знаешь ли тот край?
Ты, выросший в среде уродской,
В такой типично-городской,



Не хочешь ли в край новгородский
Притти со всей своей тоской?
Вообрази, воображенья
Лишенный, грёз моих стези,
Восторженного выраженья
Причины ты вообрази.
Представь себе, представить даже
Ты не умеющий, в борьбе
Житейской мозгу взяв бандажи
Наркотиков, представь себе
Леса дремучие вёрст на сто,
Снега с корою синей наста,
Прибрежных скатов крутизну
И эту раннюю весну,
Снегурку нашу голубую,
Такую хрупкую, больную,
Всю — целомудрие, всю — грусть...
Пусть я собой не буду, пусть
Я окажусь совсем бездарью,
Коль в строфах не осветозарю
И пламенно не воспою
Весну полярную свою!

5.

Лёд на реке, себя вздымая,
Треща, дрожа и трепеща,
Лишь ждёт сигнального праща:
Итти к морям навстречу мая.
Лёд иззелено — посинел,
Разокнился весь полыньями...
Вот трахнул гром во льду! Конями
Помчались льдины, снежность тел
Своих ледяных тесно сгрудив,



Друг друга на пути дробя,
Свои бока об'изумрудив
В лучах светила, и себя
В весеннем солнце растопляя...
И вот пошла река, гуляя
Своей разливною гульбой!
Ты потрясен, Господь с тобой?
Ты не находишь от восторга
Слов, в междометья счастье влив?
О, житель городского торго,
Радио-станции и морга,
Ты видел ли реки разлив,
Когда мореют, водянеют
Все нивы, пажити, луга,
И воды льдяно пламенеют,
Свои теряя берега?
В них отраженные синеют
Стволы деревьев, а стога,
Телеги, сани и поленья,
Среди стволов, плывут в оленьи
Трущобы, в дебри; и рога,
Прижав к спине, в испуге, лоси
Бегут, спасаясь от воды,
Передыхая на откосе
Мгновенье: тщетные труды!
Вода настигнет всё, и смоев
Оленей, зайцев и лисиц,
И тем, кого гора не скроет,
Пред нею пасть придется ниц...

6.

С утра до вечера кошовник
По Суде гонится в Шексну.



Цвет лиц алее, чем шиповник,
У девок, славящих весну
Своими песнями лесными,
Недремлющих у потесей,
И Божье раздается имя
Над Судой быстроводной всей.
За ними „тихвинки“ и баржи
Спешат стремглав в перегонки,
И мужички, — живые шаржи, —
За поворотами реки,
Извилистой и прихотливой,
Следят, всё время начеку,
За скачкой бешено-гульливой
Реки, тревожную тоску
В них пробуждающей. На гонку
С расплыва налетит баржа,
Утопит на ходу девченку,
Девченкою не дорожа...
И вновь, толпой людей рулима,
Несётся по теченью вниз,
Незримой силою хранима,
Возить товары на Тавриз
По Волге через бурный Каспий,
Сама в Олонецкой родясь...
Чем мужичок наш не был распят!
Острог, сивуха, рабство, грязь,
Невежество, труд непосильный —
Чего не испытал мужик...
Но он восстал из тьмы могильной,
Стоический, любвеобильный, —
Он исторически-велик!



7.

Теперь, покончив с ледоходом,
Со сплавом леса и судов,
Построенных для городов
Приволжских, голод „бутербродом
Без масла“ скромно утоля,
Я перейду к весне священной,
Крыля душою вдохновенной,
К вам, пробужденные поля.

Дочь Ветра и Зимы, Снегурка, —
Голубожильчатый Ледок, —
Присела, кутаясь в платок...
Как солнечных лучей мазурка
Для слуха хрупкого резка!
У белоствольного леска
Берёзок, сидя на елани,
Она глядит глазами лани,
Как мчится грохотно река.
Пред нею выются завитушки
Еще недавно полых вод.
Снегурка, сидя на горушке
С фиалками, как на подушке
Лилово-шолковой, поет.
Она поет, и еле слышно
Хрусталил трели голосок.
Ей грустно внемлет беловишня,
Цветы роняя на песок.
И белорозые горбуньи,
Невесты — яблони, чей смят
Печалью лик, внемля певунье,
Льют сидровый свой аромат.
Весна поет так нио чёмно,
И в нио чёмности ее

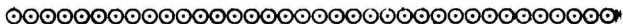


Таится нечто, что огромно,
Как всё земное бытие.
Весна поет. Лишь алый кашель
Порой врывается к ней в песнь.
Ее напев сердца онашил.
Ах, нашею он сделал веснь!
Алмаз в глазах Весны блистает:
Осолнеченная слеза...
Весна поет, и в песне тает...*)
И вскоре в воздухе глаза
Одни снегурочкины только
Сияют, ширятся, растут;
И столько нежности в них, столько
Предчувствия твоихъ минут,
Предсмертье, столько странной страсти,
Неразделенной и больной,
Что разрывается на части
Душа весной перед Весной!..
И чем полней вокруг расцвета
И жизни сила, чем слышней
Шаги спешащего к нам лета,
В горячей роскоши своей,
Тем шире грусть в очах весенних,
И вскоре поднебесье сплошь
Об'ято ими: жизни ложь
В весенних кроется мгновеньях:
— Живой! подумай: ты умрешь!.. —

8.

Череповец, уездный город,
Над Ягоброй расположен.
И в нем, среди косматых бород,

*) М. Лермонтов: „Она поет, и звуки тают...“



Среди его лохматых жон,
Я прожил три зимы, в Реальном,
Всегда считавшимся опальным
За убийство царя
Воспитанником заведения,
Учась всему и ничему
(Прошу покорно снисхожденья!...)
Люблю на севере зиму,
Но осень и весну, и лето
Люблю не меньше. О поре,
О каждой, много песен спето.
Приехав в город в сентябре,
Заделался я квартирантом
Учителя, и потекли, —
Как розово их не стекли! —
Дни серенькие. Лаборантам,
Чиновникам и арестантам
Они знакомы, и про них
Особо нечего сказать мне.
По праздникам ходили к Фатьме,
К гадалке (гривеник всего
Она брала, и оттого
Был сказ ее так примитивен...
Ах, отчего не дал семь гривен
Я ей тогда, и на сто лет
Вперед открыла бы гадалка
Число мной с'еденных котлет!...)
Еще нас развлекала галка,
Что прыгала среди сорок
По улице, и поросёнок,
На солнце гревшийся, спросонок,
Как новоявленный пророк,
Перед театром лежа, хрюкал;
Затем я помню, вроде кукол,



Туземных барышен; затем,
Просыпывая горсти тем,
Сажусь не в городские санки,
А в наш каретковый возок,
И, сделав ручкой черепанке,
Перекрестясь на образок,
Лечу на сумасшедшей тройке
Лесами хвойными, гуськом,
К заводской молодой постройке
С Алёшей, сверстником-князьком!

9.

Уже проехали Нелазу,
За нею Шулому, и вот,
Поворотив направо сразу,
Тимошка к дому подает
Не порожнем, а с седоками . . .
В сенях встречают нас гурьбой,
С протянутыми к нам руками,
Снимая шубы, девки-бой.
Мы не озябли: греет славно
Тела сибирская доха!
Нам любопытно и забавно
Шнырять по комнатам. Уха
С лимоном, жирная, стерляжья,
Пропомидорена остро.
И шейка Санечки лебяжья
Ко мне сгибается хитро.
И прыгает во взорах чортик,
Когда она несет к столу
Угря, лежащего, как кортик,
Сотэ, ризото, пастилу!



10.

Был повар старший из яхт-клуба,
Из английского был второй.
Они кормили так порой,
Что можно было скушать губы...
Паштет из кур и пряженцы;
И рябчики с душиком, с начинкой,
Икрой прослоенной, пластинкой
Филе делящей; варенцы;
Сморчки под яйцами крутыми;
Каштаненные индюки;
Орех под сливками густыми; —
Шедэвры мяса и муки!..
Когда, бывало, к нам на Суду
In сохроге с'езжался суд,
В пустую не смотрел посуду:
Все гости пальцы обсосут,
Смакуя кушанья, бывало,
И уедаясь до отвала,
С почтеньем смотрят на сосуд,
В котором паровую стерлядь
К столу торжественно несут...
Но и мортира, ведь, ожерлить
Не может большего ядра,
Чем то, каким она бодра ..
Так и желудок — как мортира —
Имеет норму для себя...
Сопя носами и трубя,
Судейцы, — с лицами сатира,
Верблюда, кошки и козла, —
Боясь обеденного зла,
Ползут по комнатам на отдых,
Валясь в истоме на кровать



И начинают горевать
О мене сытных, боле бодрых
Обедах в городе своем,
Которых мы не воспоем . . .

11.

Но как-же проводил я время
В присудской „Сойволе“ своей?
Ах, вкладывал я ногу в стремя,
Среди оснеженных полей
Катаюсь на гнедом „Спирютке“;
Порой, на паре быстрых лыж,
Под девий хохоток и шутки, —
Поди, поймай меня! шалишь! —
Носился вихрем вдоль околиц;
А то скользил на лед реки;
Проезжей тройки колоколец
Звучал вдали. На огоньки
Шел утомленный богомолец,
И вечерали старики.
Ходил на фабрику, в контору,
И друг мой, старый кочегар,
Любил мне говорить про пору,
Когда еще он не был стар.
Среди замусленных рабочих
Имел я множество друзей,
Цигарку покурить охочих,
Хозяйских подразнить гусей,
Со мною взросло покалякать
О недостатках и нужде,
Бесслѣзно кой о чем поплакать
И посмеяться кое-где . . .



12.

Наш дом громадный, двухэтажный, —
О, грусть, глаза мне окропи! —
Был, разбревенчатым, с Колпи
На Суду переплавлен. Важный
И комфортабельный был дом...
О нём, окрест его, легенды
Передавались, но потом,
Во времена его аренды
Одной помещицей, часть их
Перезабылась, часть другую
Теперь, когда страх в сердце стих,
Я вам, пожалуй, отолкую:

В том доме жили семь сестёр.
Они детей своих внебрачных
Бросали на дворе в костер,
А кости в борах чердачных
Муравили. По смерти их,
Помещик с молодой женою
Там зажил. Призраков ночных
Вопль не давал чете покою:
Рыдали сонмы детских душ,
Супругов вопли те терзали, —
Зарезался в безумьи муж
В белоколонном верхнем зале;
Жена повесилась. Сосед
Помещика, один крестьянин,
Рассказывал жене Татьяне:
— „По вечерам, лишь лунный свет,
Любви и нечисти рассадник,
Дом озаряет, на крыльцо
Брильянтовый в'езжает всадник.
Лунеет мертвое лицо...“ —



13.

И в этом-то трагичном доме,
Где пустовал второй этаж,
Я, призраков невольный страж,
Один жил наверху, где, кроме
Товарищей, что иногда
Со мной в деревню наезжали,
Бездушье полное. Визжали
Во мне все нервы, и, стыда
Не испытав пред чувством страха,
Я взрослых умолял: внизу
Меня оставить, но, грозу
Встречая, шел на верх, где плаха
Ночного ужаса ждала
Ребенка: тени из угла
Шарахались, и рукомойник,
Заброшенный на чердаке,
Педалил, каплил: то покойник,
Смывая пятна на руке
Кровавые, стонал... В подушку
Я зарывался с головой,
Боясь со столика взять кружку
С животворящею водой.
О, если-б не тоска по маме
И не ночей проклятых жуть,
Я мог бы, согласитесь сами,
С восторгом детство вспомнить!
Но этот ужас беспрестанный,
Кошмар, наряженный в виссон...
Я видел в детстве сон престранный...
Не правда-ли, престранный сон?



14.

Так я лежу в своей кроватке,
Дрожа от ног до головы.
Прекрасны днями наши святки,
А по ночам — одно „увы“.
Людской природы странно свойство:
Я все ночное беспокойство,
При первых солнечных лучах,
Позабываю. Весь мой страх
Ночной мне кажется нелепым,
И я, бездумно радый дню,
Над дико страшным ночью склепом
Посмеиваюсь и труню.
Взяв верного вассала — Гришку,
Мы превращаемся в „чертей“
И отправляемся в припрыжку
Пугать и взрослых, и детей.
Нам попадаются, по группам,
Другие ряженые, нас
Пугая в свой черед, как раз.
И знаете-ли, в этом глупом
Обычае — не мало крас!
Луна. Мороз. И силы вражи —
В интерпретации людской.
Рога чертей и рожи яжи,
Смешок и гудок воровской...
Хвостом виляя, скачет княжич, —
Детей заводских будоражич, —
Трубя в охотничий рожок,
И залепляет свой снежок
В затылок Гришке-„дьяволенку“,
Преследующему девчонку,
Кричащему, как истый бес,
Враг и науки, и небес...



15.

Без нежных женственных касаний
Душа — как бессвященный храм :
О горничной, блондинке Сане,
Мечтаю я по вечерам.
Когда волнующей походкой
Идет мне стлать постель она,
Мне мнится : в комнату весна
Врывается, и с грустью кроткой
Я, на кушетке у окна
Майн-Ридовскую „Квартеронку“
Читавший, закрываю том,
С ней говоря о сём — о том,
Смотря на спелую коронку
Ее причёски под чепцом
„Белее снега“. И лицом
Играя робко, но кокетно,
Она узор любви канвит,
Смеется взрывчато-ракетно,
Приняв задорно-скромный вид.
Теперь, спустя лет двадцать, в сани
Высоком, зная любовь княгинь,
Я отвожу прислуге Сане,
Среди моих былых богинь,
Почётное, по праву, место,
И здесь, в стране приморской эста,
Благодаря, быть может, ей,
Согревшей нежной лаской женской
Дни отрочества, всё больней
Мечтаю о душе вселенской
Великой родины своей !



И солнце, чей лучисто звонок
И ослепителен был лик,
Смеялось слишком откровенно
И поощрительно: воздвиг
Кузине Лиле вдохновенно,
Лучей его заслышав клик,
В душе, окрепшей, возмужалой,
Любовь двенадцатой весны, —
И эта-то любовь, пожалуй,
Мои оправдывала сны,
— Я видел в детстве сон престранный —
Своей ненужной глубиной,
Своею юнью осиянной
И первой страстностью больной . . .

18.

Жемчужина утонков стиля,
В теплице взрощенный цветок,
Тебе, о лильчатая Лиля,
Восторга пламенный поток!
Твои каштановые кудри,
Твои уста, твой гибкий торс —
Напоминают мне о Лувре
Дней короля Louis Quatorze.
Твои прищуренные глаза —
. . . Я не хочу сказать глаза! . . . —
Таят на дне своем экстазы,
Присудская моя лоза.
Исполнен голос твой мелодий,
В нём — смех, ирония, печаль.
Ты — точно солнце на восходе,
Узв в болезненную даль . . .
Но, несмотря на все изыски,



Ты сердцем девственно-проста.
Классически твои записки,
Где буква каждая чиста.
Любовью сердце оскрижалась,
Полно надзвездной синевы.

19.

Весною в „Сойволу“ с'езжались
На лето гости из Москвы:
Отец кузины, дядя Миша,
И шестеро его детей,
Сказать позвольте: обезмыша, —
Как выразился раз в своей
Балладе старичок Жуковский, —
И обестенив весь этаж,
Где жить, в компании бесовской,
Изволил в детстве автор ваш.
Затем две пары инженеров,
Три пары тётушек и дядь...
Ах, рыл один из них жене ров,
И сам в него свалился, глядь!..

Тогда на троечной долгуше
Сооружались пикники
Куда-нибудь в лесные глуши
На берегах моей реки.
По приказанью экономки,
Грузили на телегу снесь;
А тройка, натянув постромки,
Туда, где властвовал медведь,
Распыливалась. Пристяжные,
Олебедив изломы шей,
Тимошки выкрики стальные



Впивали чуткостью ушей.
Хрипели кони и бесились,
Склоняли морды до земли.
Струи чьего-то амарилис
Незримо в воздухе текли...
В лесу — грибы, костры, крюшоны
И русский хоровой напев.
Там в дев преображались жоны,
Преображались жоны в дев.
Но девы в жон не претворились,
Не претворялись девы в жон,
Чем аморальный амарилис
И был, казалось, поражен...

20.

Сын тёти Лизы, Виктор Журов,
Мой и моей Лилит кузэн,
Любитель в музыке ажуров,
Отверг купеческий безмен:
Студентом университета
Он был, и славный бы юрист
Мог выйти из него, но это
Не вышло: слишком он артист
Душой своей. Улыбкой скаля
Свой зуб, дала судьба успех:
Теперь он режиссер "La Scala",
И тоже на виду у всех...
О, мой Vittorio Andoga!
Не ты-ль из Андоги возник?..*
Имел он сеттэра и дога,
Охотился, писал дневник.
Был Виктор страстным рыболовом:
Он на досчанике еловом



Нередко ездил с острогой;
Лая изрядно гордых планов,
Ловил на удочку паланов;
Моей стихии дорогой —
Воды — он был большой любитель,
И часто белоснежный китель
На спусках к голубой реке
Мелькал: то с удочкой в руке
Он рыболовить шол. Ловите
Момент, когда в разгаре клёв!
Благодаря, быть может, Вите,
И я — заправский рыболов.
В моей благословенной Суде —
В ту пору много разных рыб.
Я, постоянно рыбу удя,
Знал каждый берега изгиб.
Лещи, язи и тарабары,
Налимы, окуни, плотва.
Ах, можно рыбою амбары
Набить, и это не слова!..
Водились в Суде и стерлядки,
И хариус среди стремнин...
Я убежал бы без оглядки
В край голубых ее глубин!
... О, Суда! голубая Суда!
Ты, внучка Волги! дочь Шексны!
Как я хочу к тебе отсюда
В твои одебренные сны!..

•
21.

Был месяц, скажем мы, центральный,
Так называемый — июль.
Я плавал по реке хрустальной



И, бросив якорь, вынул руль.
Когда развесленная стихла
Вода, и выстоялась тишь,
И поплавок, качаясь рыхло, —
Ты просишь: „и его остишь!“ —
В конце концов на месте замер,
Увидел я в зеркальной раме
Речной — двух небольших язей,
Холоднокровных как друзей,
Спешивших от кого-то в страхе;
Их плавники давали взмахи.
За ними спешно головы
Лобастомордые скользили,
И в рыбьей напряженной силе
Такая прыть была. Вели
Сорожек, точно на буксире,
И, помню, было их четыре.
И вдруг, усатый черный чорт
Чуть не уткнулся носом в борт,
Свои усища растопырив,
Усом задев мешок с овсом:
Полуторосаженный сом.
Гигант застыл в оцепененьи,
И круглые его глаза,
С моими встретясь на мгновенье,
Поднялись вверх, и два уса
Зашевелились в изумленьи,
Казалось, — над открытым ртом...
Сом ждал, слегка руля хвостом.
Я от волненья чуть не выпал
Из лодки, и, взмахнув веслом,
Удары на него посыпал,
Идя в азарте на пролом.



Но он хвостом по лодке хлопнул
И окатил меня водой,
И от удара чуть не лопнул
Борт крепкий лодки молодой.
Да: „молодой“. Вы ждете: „новой“,
Но так сказать я не хочу!
Наш поединок с ним суровый
Так и закончился вничью.

22.

Как девушка передовая,
Любила волны ячменя
Моя Лилит и, не давая
Ей поводов понять меня
С моей любовью к ней, сторожо
Душой я наблюдал за ней,
И видел: с Витею немножко,
Чем с прочими, она нежней...
Они, годами однолетки,
Лет на пять старшие меня,
Держались вместе, и в беседке,
Бальмонтом Надсона сменя,
В те дни входившим только в моду
„Под небом северным“, природу
Любя, в разгаре златодня
Читали часто, или в лодке
Катались вверх за пару вёрст,
Где дядя строил дом, и прост
Был тон их встреч, и нежно-кротки
Ее глаза, каким до звёзд,
Казалось, дела было мало:
Она улыбочиво внимала
Одной земле во всех ее



Печалях и блаженствах. Чье,
Как не ее, боготворенье
Земли передалось и мне?
И оттого стихотворенья
Мои — не только о луне,
Как о планете: зачастую
Их тон и чувственный, и злой,
И если я луну рисую,
Луна насыщена землей...
Изнемогу и обессилю,
Стараясь правду раздобыть:
Как знать: любил ли Витя Лилю?
Но Лиля — Витю... может быть!..

23.

Росой оранжевого часа,
Животворяща, как роса,
Она, кем вправе хвастать раса, —
Ее величье и краса, —
Ко мне идет, меня олиля,
Измиловав и умиля,
Кузина, лильчатая Лиля,
Единственная, как земля!
Идет ко мне наверх, по просьбе
Моей, и, подходя к окну,
Твердит: „Ах, если мне пришлось бы
Здесь жить всегда! Люблю весну
На Суде за избыток грусти,
И лето за шампанский смех!..
Воображаю, как на устьи
Красив зимы пушистый мех!“ —
Смотря в окно на синелесье,
Задрапированная в тюль,



Вздыхает: „Ах, Мендэс Катюль...“
И обрывает вдруг: „Ну, здесь я...
Ты что-то мне сказать хотел?...“ —
И я, исполнен странной власти,
Ей признаюсь в любви и страсти,
И брежу о слияньи тел...
Она бледнеет, как-то блёкнет,
Улыбку болью изломав.
Глаза прищуря, душу окнит
И шепчет: „Милый, ты не прав:
Ты так любить меня не можешь...
Не смеешь... ты не должен... ты
Напрасно гредишь и тревожишь
Себя мечтами: те мечты,
Увы, останутся мечтами, —
Я не могу... я не должна
Тебя любить... ну, как жена...“ —
И подойдя ко мне, устами
Жар охлаждает мой она,
Меня в чело целуя нежно,
По сёстрински, и я навзрыд
Рыдаю: рай навек закрыт,
И жизнь отныне безнадежна...
Недаром мыслью многогранной
Я плохо верил в униссон,
Недаром в детстве сон престранный
Я видел, вещий этот сон...

Настанут дни — они обманут
И необманные мечты,
Когда поблёкнут и увянут
Неувяданные цветы.
О, знай, живой: те дни настанут,
И всю тщету познаешь ты...



Отрадой грезил ты, — не падай
В уныньи духом, подожди:
Неугасимою лампадой
Надежда теплится в груди.
Сияет снова даль отрадой,
Любовь и Слава — впереди!

Часть III



1.

Для всех секрет полишинеля,
Как мало школа нам дает.
Напрасно, нос свой офланеля,
Ходил в нее я пятый год:
Не забеременила школа
Моим талантом и умом,
Но много боли и укола
Принес мне этот „мертвый дом“,
Где умный выглядел ослом.
Убого было в нем и голо, —
Давно пора его на слом!

2.

Я во втором учился классе,
Когда однажды, в тарантасе
Приехавший в Череповец,
В знак дружбы, разрешил отец
Дать маме знать, что, если хочет
Со мною быть, ее мы ждем.
От счастья я проплакал очи!
Дней через десять, под дождем,
Причалил к пристани „Владимир“,
И мамочка, окружена
Людьми старинными своими,
Рыдала, стоя у окна.
Восторги встречи! радость деться!



Опять родимая со мной!
Пора: ведь, истекала третья
Зима без мамочки родной.
Отец обширную квартиру
Нам нанял. Мамин-же багаж
Собой заполнил весь этаж.
О, в эти дни впервые лиру
Обрёл поэт любимый ваш!
Шкафы зеркальные, комоды,
Диваны, кресла и столы —
Возили с пристани подводы
С утра и до вечерней мглы.
Сбивались с ног, служа, девчѣнки,
Зато и кушали за двух:
Ах, две копейки фунт печѣнки
И гривеник — большой петух!...
И та, чья рожица омарья
Всегда растянута в ухмыл,
Старушка, дочка пономарья,
Почти классическая Марья,
Заклятый враг мочал и мыл,
Была довольна жизнью этой
И об'едалась за троих,
„Пашкет“ утромбовав „коклетой“
На вечном склоне дней своих...
Она жила полвека в доме
С аристократною резьбой.
Ее мозги, в своем содоме,
Считали барский дом избой...
И ногу обтянув гамашей,
Носила шляпу-рвань с эспри,
Имела гномный рост. „Дур-Машей“
Была, что там не говори!



Глупа, как пень, анекдотична,
Смешила и „порола дичь“,
И что была она типична,
Вам Федор подтвердит Кузмич . . .
. . . Ей дан билет второго класса
На пароходе, но она,
Вся возмущенье и гримаса,
Кричала: „Я пугаюсь дна, —
Оно проломится, ведь, дно-то!
Хочу на палубу, на свет“ . . . —
Но больше нет листков блок-нота,
И, значит, Марьи больше нет . . .
Был сын у этой „дамы“, Колька,
Мой сверстник и большой мой друг.
Проказ, проказ-то было сколько,
И шалостей заклятый круг!
Однажды из окна гостиной
Мы с ним увидели конька,
Купив его за три с полтиной
У рыночного мужика.
Стал ежедневно жеребёнок
Ходить к нам во второй этаж . . .
Ах, избалованный ребёнок
Был этот самый автор ваш!
С утра друзья мои по школе,
Меняя на проказы класс,
Сбегались к нам, и другу Коле
Давался наскоро заказ:
Купить бумаги, красок, ваты,
Фонарики и кумача,
И, под мотивы „Гиаватты“,
Вокруг Сашутки-лохмача,
Кружились мы, загаром гнеды,



Потом мы строили театр,
Давая сцены из „Рогнеды“, —
Запомни пьесу, психиатр!..
Горя театром и стихами
И трехполтинными конями,
Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрянул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увёз. Так в Лету канул
Счастливый час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.
О, кто на свете мягче мамы?
Ее душа — прекрасный храм!
Копала мама сыну ямы,
Не видя вовсе этих ям...

3.

Ту зиму прожил я в деревне,
В негодовании зубря,
По варварской системе древней,
Всё то, что все мы зубрим зря.
Я алгебрил и геометрил,
Ха! это я-то, соловей!
О, счастье! я давно разветрил
„Науки“ в памяти своей...
Мой репетитор, Замараев,
Милейший Николай Ильич,
Всё больше тёрся у сараев,



Рабочему бросая клич
Объединенного Протеста,
За что лишился вскоре места:
Хотя отец — и либерал,
Но бунт на собственном заводе
Несносен в некотором роде:
Бунт собственника разорял.
„Бунтарь“ уволен. Математик
На смену вызван из Твери.
Он больше был по части „Катек“,
Черт математика дери!
Любила тётка преферансы, —
Учитель был ее партнер.
А я слагал в то время стансы,
Швырнув учебник за забор.
Так целодневно на свободе
И предоставлен сам себе,
Захлёбывался я в природе,
Сидел у сторожа в избе,
Кормил коней, влюблялся в Саню,
Читал, что только мог прочесть...
Об этом всём теперь романю,
А вас прошу воздать мне честь!

4.

Учительского персонала
Убожество не доканало
Меня лишь оттого, что взят, —
Пусть педагоги не грозят! —
Я был отцом из заведенья,
Когда, за год перед войной
Русско-Японской, он со мной
Уехал, потерпев крушенье



В заводском деле, на Квантун,
Где стал коммерческим агентом
В одном из пароходств. Бастун
Спасительным экспериментом
Еще не всколыхнул страны:
Ведь, это было до войны.

5.

Мы по дороге к дяде Мише
(Он в Серпухове жил тогда)
Весной, когда в Оке вода,
Бесчинствуя, вздымалась выше
Песчано-скатных берегов,
Заехали на две недели,
И там я позабыл о цели
Пути, и даже был готов
С собой покончить: угодили
Мы, страшно молвить, к свадьбе Лили...
На фабрике громадной ткацкой
Директорский имея пост,
Михал Петрович, добр и прост,
Любил отца любовью братской.
Его помощник, инженер,
Был женихом моей кузины, —
Поклонник рьяный хабанер,
Большой знаток своей машины,
Предобродушнейший хохол
И очень компетентный химик;
На голове его хохол
Не раз от трудолюбья вымок...
Жених хохлацки грубоват,
Но Лиля, ведь, была земною,
И разве муж был виноват,



Что сделалась его женою
Лилиесердная Лилит?
Летит любви аэролит,
Поберегись-ка ты, прохожий:
Ты выглядишь, как краснокожий,
Когда аэролит летит...
Но я... но я не поберегся,
И что-же? сердца краснота
Вдруг стала закопченной кокса, —
Гарь эта временем снята...
Теперь, пролетив четверть века,
Сменяет лирику сарказм.
Тогда-же я рыдал до спазм,
От боли был почти калека...
Вспеняя свадебный фиал
И пламную эпिताмбу
Читая, я протестовал,
Из пира чуть не сделав драму...
Перед от'ездом видеть маму
Мне не дали, и, сев в экспресс,
Умчались мы к горам Урала.
Душа, казалось, умирала,
Но срок истёк, — и дух воскрес!

6.

Ах, больше Крыма и Кавказа
Очаровал меня Урал!
Для большей яркости рассказа
На нём я сделаю привал.
В двух — трёх словах, конечно, трудно
Воспеть красоты этих гор.
Их тоны сине-изумрудны:
На склонах мачтовидный бор.



Круты олесенные скаты,
Стремглавы шустры ручьи.
В них апельсинные закаты
Студят дрожащие лучи.
Вздымаются державно сопки,
Ущелья вьются здесь и там;
Но мы в вагоне, как в коробке,
И потому могу-ль я вам
Сказать достойно об Урале,
Чего он вправе ожидать?
Молниеносно промелькали
Мы гор уральских благодать.
И мимо чукча, мимо чума,
Для рифмы вспомнив про имбирь,
По царству, бывшему Кучума,
Перемахнули всю Сибирь!
Я видел сини Енисея,
Тебя, незлобивая Обь,
Кем наша „матушка Рассея“, —
Как несравнимая особь, —
Не зря гордится пред Европой;
И как судьба меня не хлопай,
Я устремлён душою всей
К тебе, о синий Енисей!
Вдоль малахитовой Ангары,
Под выступами скользких скал,
Неслись, тая в душе разгары;
А вот — и озеро Байкал.
Пред ним склонён благоговейно,
Теряю краски и слова,
Пред строгой красотой бассейна
Взволнованного божества...
Святое море! Надо годы



Там жить, чтоб сметь его воспеть!
Я только чую мощь природы ...
Ответь когда-нибудь, ответь
Моей душе, святое море,
Себя воспеть мне силы дай!
В твоём неизмеримом взоре,
Я грежу, отражён Алтай ...
Манчжурия, где каждый локоть
Земли — посевная гряда,
В неё вонзён китайский ноготь
Эмблемой знойного труда ...
Манчжурия! ты — рукотворный
Сплошной, цветущий огород.
Благословен в труде упорный
Твой добродетельный народ.
И пусть в нём многое погано,
Он многие сердца привлёк,
Когда, придя к ногам Хингана,
В труде на грудь твою возлёт ...
Кинчжоу, узкий перешеек;
За ним, угрюмец и горюн,
Страна сафирных кацавеек,
В аренду нанятый Квантун
На девяносто девять вёсен
Портсмутским графом, центр смут.
Вопрос давно обезвопросен:
Ответ достойный дал Портсмут ...

7.

Мы в Дальнем прожили пол года,
И трафаретно говоря:
„Стояла дивная погода“
От мая вплоть до декабря.



Я был японкою Кицтаки
Довольно сильно увлечен;
С тех пор мечтать о Нагассаки
Пожизненно я обречён...
И пусть узнает мой биограф,
Что был отец ее фотограф,
А кем была Кицтаки мать —
Едва-ль сумею вам сказать...
Когда, стуча на деревяжках,
Она идет, смотря темно,
Немного сужено на ляхках
Ее цветное кимоно.
Надменной башенкой причёска
Приподнялась над головой;
Лицо прозрачней златовоска;
Подглазье с томной синевой.
Благоухает карилопсис
От смуглого атласа рук.
Любись и пой, и антилопся,
Кицтаки, желтолицый друг!...

В костюме белопарусинном,
В такой-же шляпе и туфлях,
Я шел в Китайский парк пустынный
Грустить о северных полях...
И у театра Тифонтая,
Почти в тропической жаре,
Ложился на траву, мечтая
О вешней северной заре...
Любуясь желтизной зелёной
Воды, чем славен Да-Лянь-Вань,
Вдыхая воздух вод солёный,
Пел Сканды северную ткань
Текучую. У Балтиморья



Скоплялись мысли и мечты.
Так у Квантунского нагорья
Мечтал с утра до темноты.
Вода Корейского залива
Влекла в Великий океан,
В страну, где женщина — как слива . . .
Вдали белел Талиенван,
Напоминая о боксерском
Восстаньи: днях, когда хунхуз,
В своем остервененьи зверском,
Являлся миру из обуз,
Едва-ль, не самую ужасной,
Когда, — припомни, будь так добр, —
Его смиряли силой властной
Суда: „Кореец“, „Сивуч“, „Бобр“.

У нас был „бой“ в халате ватном,
Весь шелковый и голубой.
Ах, он болтал на непонятном
Китайском языке, наш „бой“ !
Китаец Ли — весёлый малый,
Мы подружиться с ним могли,
И если надо, что-ж, пожалуй,
Я вспомню и китайца Ли.
Мы с ним дружили, но китаец
Однажды высмеял мой флаг.
Он в угол загнан мной, как заяц,
И мой почувствовал кулак:
„Герой“ ему вцепился в косу
И, подтолкнув его к откосу,
На нём патриотизм излив,
Чуть не столкнул его в залив.
На вопли Ли сбежались кули,
О чём-то с жаром лопоча,



Но я взревел! и, точно пули,
Они „задали стрелача“ . . .
Мы вскоре с „боем“ помирились,
Вновь дружба стала голуба.
Мне в нос вплывал не амарилис,
А запах масла из боба . . .

8.

Вот в это время назревала
Уже с Японией война,
И, крови жажда, как вина,
Мечтали люди — до отвала
Упиться ею: суждена
Людскому роду кровь в напиток, —
Ее на свете, ведь, избыток,
И людям просто пир не в пир,
Коль не удастся выпить крови . . .
Как не завидовать корове:
Ведь ей отвратен лязг рапир!

Туман сгущался, но, рассеяв
Его, слегка поколебал
Наместник царский, Алексеев,
Угрозу битв, устроив бал,
В противовес всему унынию.
Тогда в кипящий летний зной
Над всею необъятной синью,
Верней сказать: над желтизной, —
Красавец-лебедь, мелких бурек
Не замечавший в громе бурь.
Наш броненосный крейсер „Рюрик“
Взвывает гордо флаг в лазурь.
К нему, вперёд пуская катер,



Припятитрубился „Аскольд“,
От „Рюрика“ встав на кильватер.
И увертюрой из „Rheingold“
На крейсере открытье бала
Оповещают трубачи.
Как он, потомок Ганнибала,
Я бал беру в свои лучи.

9.

К искусственному водопаду
На палубе подвешен трап.
Всю ночь танцует до упаду
Веселья добровольный раб;
Будь это в Ницце-ли, в Одессе-ль,
Моряк — всегда везде моряк!
И генерал приморский Стессель
Шлет одобрительный свой „кряк“.
И здесь-же Старк и Кондратенко,
И Витгефт с Эссеном, и Фок,
И мичманов живая стенка,
И крылья, крылья дамских ног!
Иллюминированы киоски,
Полны мимоз и кризантэм.
По рейду мчатся миноноски
С гостями к балу между тем.
Порхают рокотно ракеты,
Цветут бенгальские огни.
Кокеток с мест берут кокеты ...
А крейсер справа обогни,
И там у Золотого Рога,
Увидишь много — много — много
И транспортов, и крейсеров
В сияньи тысяч огоньков ...



Тут и „Паллада“, и „Боярин“,
И тот, чье имя чтит моряк,
Чей славный вымпел оалтарен,
В те дни обыденный, — „Варяг“.
„Аскольд“ поистине аскольдчат,
Вокруг хрустят осколки фраз
И в дальном воздухе осколчат
Мотивы разных „Pas de grâce“ ...
Военной строгости указник
Бросает в воду вальса тур.
Эскадра свой справляет праздник,
И вместе с ней весь Порт-Артур.
В серебряных играет жбанах
Шампанское, ручьем журча.
В литаврах звон, и в барабанах —
Звяк шпор весеннего луча!
Замысловатых марципанов
Полны хрустальные блюда,
И лязг ножей, и звон стаканов,
И иглы „ягодного льда“ ...
Какой бы ни был ты понурик,
Не можешь не взнести бокал,
Когда справляет крейсер „Рюрик“
В ночь феерическую бал! ...

10.

За месяц до войны не вынес
Тоски по маме и лесам,
И, на конфликт открытый ринясь,
Я в Петербург уехал сам,
Отца оставив на чужбине,
Кончающего жизнь отца.
Что мог подумать он о сыне



В минуты своего конца,
В далёкой Ялте, в пансионе?
Кто при его предсмертном стоне
Был с ним? кто снёс на гроб сирень?
На кручах гор он похоронен
В цветущий крымский майский день.
Я виноват, и нет прощенья
Поступку этому во-век.
Различных поводов скрещенье:
Отца больное раздраженье,
Лик матери и голос рек,
И шумы северного леса,
И шири северных полей —
Меня толкнули в дверь экспресса
Далёкой родины моей,
Чтоб целовать твои босые
Стопы в деревне у гумна,
Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!

Книги Игоря-Северянина.

- т. I. „Громокипящий кубок“.
Издание 1—7 — К-во „Гриф“, Москва. 1913.
Издание 8—10 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва
1918.
- т. II. „Златолира“.
Издание 1—5 — К-во „Гриф“, Москва.
Издание 6 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.
Издание 7 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. III. „Ананасы в шампанском“.
Издание 1—2 — К-во „Наши Дни“, Москва 1915.
Издание 3—4 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.
Издание 5 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. IV. „Victoria Regia“.
Издание 1—2 — К-во „Наши Дни“, Москва 1915.
Издание 3 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.
Издание 4 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. V. „Поэзоантракт“.
Издание 1—2 — К-во „Северные Дни“, Москва
Издание 3 — (Автора) 1919.
- т. VI. „Тост безответный“ (1915).
Издание 1 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.
Издание 2 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. VII. „Миррэлия“ (1916—17).
Издание 1 — К-во „Москва“, Берлин 1922.
- т. VIII. „Ручьи в лилиях“.
Рукопись.
- т. IX. „Соловей“ (1918).
Издание 1 — К-во „Накануне“, Берлин 1923.
- т. X. „Настройка лиры“.
Рукопись.

- т. XI. „Вербэна“ (1918—19).
Издание 1 — К-во „Odamees“, Юрьев 1920.
- т. XII. „Менестрэль“ (1919).
Издание 1 — К-во „Москва“, Берлин 1921.
- т. XIII. „Amores“. Книга стихов Генрика Виснапу.
С эстонского.
Издание 1 — Москва.
- т. XIV. „Feя Eiole“ (1920—21).
Издание 1 — К-во „Отто Кирхнер“, Берлин 1922.
- т. XV. „Утёсы Eesti“. Антология эстийской лирики
за 100 лет.
Издание 1 — К-во „Вадим Бергман“, Юрьев.
Выдет в 1925.
- т. XVI. „Предцветенье“. Книга стихов Марии
Ундер. С эстонского.
Рукопись.
- т. XVII. „Падучая стремнина“ (1922). Роман в
стихах, в 2 частях.
Издание 1 — К-во „Отто Кирхнер“, Берлин 1922.
- т. XVIII. „Литавры солнца“ (1922—23).
Рукопись.
- т. XIX. „Колокола собора чувств“ (1923). Роман в
стихах, в 3-х част.
- Издание 1 — К-во „Вадим Бергман“, Юрьев.
- т. XX. „Роса оранжевого чьез“ (1923). Поэма дет-
ства в 3-х частях.
Издание 1 — К-во „Вадим Бергман“, Юрьев.
- т. XXI. „Взор неизмеримый“ (1923—24).
Рукопись.
- т. XXII. Рассказы в ямбах (1923—24).
Рукопись.
- т. XXIII. Спутники солнца.
Статьи об искусстве.

II

